«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме…»
Евангелие от Матфея, гл. 2, ст. 16.

В знойном воздухе – ни ветерка. Белая, раскаленная почва слепит глаза. Колючки чахлых растений ранят щиколотки и, попав между подошвой сандалий и пяткой, впиваются досаждающими занозами. Геккон, цепенеющий в вездесущих лучах солнца, при приближении шагов мгновенно прячется в тень. Ночью, когда на небе светилось юпитерово копье кометы, народился младенец, о котором пророк в драной хламиде выкрикивал на базарной площади Вифлеема, что он Царь иудейский. И вот теперь легион Туллия Макробия и головорезы из личной охраны царя Ирода рыскают по холмам и оврагам, заглядывают в хижины и пещеры, разыскивая новорожденного. Скольких уже проткнули они своими мечами и дротиками! Кровью скольких омыли руки! Но, чувствуя, как пухнет под раскаленным шлемом голова, Туллий, всё ещё слышит доносящийся откуда-то младенческий писк. Где же спрятала своего выродка проклятая баба? В мраморной прохладе храма Весты, пользуясь детской наивностью весталок? В заросшей лавандовыми кустами пещере с помощью упрямых пастухов? А может быть, этот плач доносится из руин Карфагена и, отраженный гранями вечных пирамид, усиливаемый магией их непостижимой геометрии (если составить основаниями две пирамиды вместе, получится октаэдр), морочит его и его воинов? Говорят, заблудившийся среди пирамид рискует заблудиться во времени. Таковы свойства граней при воздействии на них заклинаний. А он со своими воинами уже потерял счет лунам. Ему, не страшившемуся ни трезубца гладиатора, ни пасти крокодила, мерещится какой-то многоглазый сундук, из чрева которого выходят змеи юпитеровых молний. Единственное, что ужасает центуриона, – гнев богов. Девственницы в туниках танцуют напевая. Чадит туком овна жертвенный огонь. Над сундуком склонился длинновласый колдун-волхв. Молнии от глазастого сундука входят в шлем Туллия Макробия. Сжавши в мускулистой руке короткий меч, он идет навстречу доносящемуся издали детскому плачу. Он должен, он обязан совершить очередную жертву…

Мигнув как-то особенно осмысленно, гирлянда индикаторных лампочек погасла. Вернув переключатели и тумблеры в исходное положение, Иосиф уже всовывал руку в обрёмканный рукав демисезонного пальто, когда, обнаружив, что один тумблер остался в состоянии «вкл», увидел, как перед ним проплыл легионер с вынутым из ножен зажатым в руке мечом. «Получилось!» – обрадовано подумал он. Но видение тут же истаяло – и оставалось гадать, было ли оно результатом некоторых усилий Иосифа Плотникова, направленных на то, чтобы проникнуть в прошлое, или это просто игра воображения плохо выспавшегося дежурного лифтовой. Вернув в надлежащее положение последний тумблер, Иосиф сразу же оказался на кухне, куда его переместило силою небольшого подключенного к Пульту трансмутатора, который он по наитию соорудил из подобранного

осенью на обском берегу камня-октаэдра. Нося кристалл в кармане пальто, Плотников стал замечать всякие необычные явления. То, наткнувшись в задумчивости на подъездную дверь, он беспрепятственно прошел сквозь листовой металл. То, положив в карман мертвого скворца, чтобы похоронить его на огороде, обнаружил, что скворушка бьется и кричит в темноте кармана, и оставалось только отворить вход в матерчатую пещеру, чтобы птица выпорхнула на волю. Принеся камень домой и положив его на стол рядом с посаженным в горшок кактусом, Иосиф увидел, как нахохленный иголками зеленый кукиш расцветает. С тех пор с помощью камня Иосиф надеялся вернуть расположение жены. Он верил в успех этого предприятия ещё и потому, что, взглянув сквозь тусклый камень на солнце, увидел Монаха.

– Благодаря Большому Добровольному Посту, ты наконец-то обрел этот камень! – сказал Монах. – Знай – в нём сила великого знания, обретённого в монастырях Тибета. Этот камень – осколок приходящего раз в три тысячи лет огненного болида. Благодаря ему я мог путешествовать по иным временам, пока не пал от руки пятого воплощения Туллия Макробия – Кара-каана в месте слияния Бии с Катунью, где стоит Золотая Баба. После того как меня сразил меч Кара-каана, я и перенесся на Изумрудную Планету…

Торжественно произнеся последнюю фразу, Монах истаял.

Как раз за месяц до чудесной находки Иосиф надумал экономить. К этой мере он прибег, надеясь спасти от окончательного краха семейный бюджет. А оказалось… Иосиф, конечно же, знал о существовании политэконома Сен-Симона, наслышан он был и о том, что в Аргентине приключился дефолт из-за неумной привязки рубля к доллару. Но не это послужило толчком к решению надеть на себя власяницу схимника. Его насмотревшаяся бразильских сериалов жена, дворничиха Маня, заявила как-то окопавшемуся в монашеской келье лифтовой Плотникову, что, мол, никакой он не мачо, не кормилец, не опора в жизни, а гнусный самец с неумеренными амбициями. Вот тогда-то, поразившись впервые переменам в облике жены, Иосиф и решился на схиму. А перемены были разительны. Если прежде жена являлась ему то в образе ренуаровской ню, то в обличии балерин Дега или автопортрета Серебряковой – струистая волна волос, гребень, руки с затаившимися под мышками тенями, шпильки, баночки с кремом, насмешливые губы, гильзочки помады, весенний день за окном, растекшийся по льдистому серебру зеркала, – то теперь… Позже он понял: эта перемена как-то связана с граненым камнем, но тогда… С тех пор как, ковырнув ботинком, Плотников вынул кристалл из песка, камень овладел им. Все мысли Иосифа крутились вокруг камня. А бывало, он грезил рыбалкой. Собирал закидушки – и отправлялся на реку, чтобы поймать судачишку или язя на ушицу. Теперь не до лески и крючков стало. Чувствовал он, что сам, заглотив наживку, крепко сел на крючок. Куда ни глянет – перед глазами Кристалл. А в его гранях чего только не мерцает, не переливается, не мнится! То и дело в самый неподходящий момент являлся Тибетский Монах в черной рясе, алой скуфейке на макушке, с длинной косицею между лопатками и четками в подвижных пальцах. Монах затевал с Иосифом бесконечные мистико-теологические дискуссии, звучавшие в голове Плотникова, словно в неё было вмонтировано устройство, принимающее передачи с далекой Изумрудной Планеты. О ней и толковал Монах. Чувствуя, что сходит с ума, Иосиф попробовал избавиться от камня. Он кидал его в мусоропровод и канализационный колодец, он забывал его на сиденье автобуса и ронял на рельсы метрополитена, но всякий раз кристалл снова оказывался в кармане его пальто.

Чтобы отвлечься, Иосиф брал в руки кляссер, зубец к зубцу подравнивал марки, пытаясь вообразить Марию хотя бы в виде умиротворяющего пейзажа или цветка из серии «Фауна», но в глаза лезли лишь пылающие на небе кометы, доисторические ящеры, кактусы и рогатые жуки. Всё остальное разноцветное великолепие отныне существовало как бы отделённое от его жены незримой гранью кристалла. Мысли о продаже долгими годами собиравшейся коллекции пришли первыми. Поэтому, взяв в руки потёртый кляссер и лупу, Иосиф словно бы торжественно прощался с этими оконцами в иной чудесный мир. Он наводил двояковыпуклое стекло то на павлиноглазое крылышко бабочки, то на усатую мордочку кузнечика, то на диковинную морскую раковину – и не мог насмотреться. Тем временем он и себя увидел под увеличительным стеклом, входящим в букинистический магазин, а что ещё хуже – стоящим на углу возле бывшего Дома книги, где теперь «Нью-Йорк пицца». Все выглядело так же, как это бывало, когда он распродавал библиотеку. Похожий на обломленную бурей брошенную на асфальт ветку, торчал он здесь в метель и в оттепель в демисезонном пальтишке, в нахлобученной кое-как кроличьей шапке-ушанке, и был отлично виден самому себе сквозь лупу. Диковинное насекомое, так долго жившее в лесу, где можно было ползать, шевелиться и даже летать, мимикрируя под сучок, кривую веточку, листик.

И вот пронёсся по небу огненный болид, ахнуло вдали всесокрушительным взрывом – и тот лес сгорел, обуглился, остались лишь черные стволы, негде ползать, нечего грызть, не во что вонзать хоботок.

Приблизив лупу к перекрестку, Иосиф отчетливо различил обложки книг, разложенных на клеёнке возле стоптанных ботинок и выползшего из похожей на глаз лошадиного черепа дырочки змееныша шнурка. Дюма. Голсуорси. Станислав Лем. Пастернак. Если темпераментного француза и тягомотного англичанина было не очень жаль, то Лема с Пастернаком приходилось отрывать с кровью… Изо дня в день сюда приходила сгорбленная, кого-то напоминающая ему старуха в драном полушалке, плюшевом жакете, стоптанных пимах. Старуха возникала из метельных завихрений. Вполне возможно, она была просто комбинацией сгустков ветра и снежной пыли. Потому что, когда ветер стихал, она распадалась. Она ничего не покупала, а только, копаясь в книгах, мусолила страницы окостеневшими от холода пальцами. Наводя резкость, Плотников узрел, как это случилось когда-то где-то с первооткрывателем самой холодной и темной планеты: лавиной астероидов напирающие фары, бамперы и тонированные стекла на перекрестке. Перебредающей через асфальтовую реку старушенции приходилось поспешать – того и гляди придавят. Этот напор был настолько мощным, что Плотникову захотелось забиться в лифтовую, открыть пахнущий застарелым клеем том и, превратившись в книжного червя-шелкопряда, прясть и прясть непроницаемый для внешнего мира кокон. Прежде Иосиф представлял в его тёплом, едва пропускающем полумрак нутре и себя, и Марию, и детей. Теперь Мария и дети оказалась по ту сторону. Ему чудилось даже, что, пока он торчит у Дома книги, ужасно помолодевшая, в раскраске макияжа Мария сидит за рулем похожей на соседкин кухонный комбайн «Ауди» и, нажимая на педаль, норовит въехать в него бешено вращающимися, все перемалывающими, приделанными к колесам резаками.

Оторвавшись от разглядывания марок, Плотников обнаружил, что он находится в лифтовой. Негромко гудел Пульт. Мерцали лампочки на панели. Тумблеры и кнопки торчали. Немудреная штуковина, но чем-то сильно напоминающая аппараты из фантастических рассказов и кинофильмов. Спилберг. Тарковский. Бредбери. Лем. «Солярис». К реальности возвратили закипающий электрочайник и стакан со свесившейся через край ниточкой одноразового пакетика, куда надо было налить кипяток. В трудные минуты Плотников старался думать о хорошем. О том, что ожидает его в будущем. Он представлял, как пока что ещё едва брякающий по клавишам сынишка станет знаменитым пианистом, а донимающая соседей пилением на скрипке дочь разъезжающей по гастролям солисткой симфонического оркестра…

Мысли Иосифа взметнулись выше десятого этажа, лифтовая кабина его скорбных раздумий пробила чакру в темечке. Варианты его дальнейшей судьбы замигали, как лампочки на пульте в тесной каморке в момент, когда где-то застревал лифт – и, отметая бритву, уксус и петлю, он решился более не есть продуктов, не пить, не курить и быть сдержаннее в одежде.

Не сказать, чтобы Иосиф, обретший творческий покой в ведомственной однокомнатной, где он под приклеенной к обоям скотчем вырванной из «Огонька» репродукцией картины «Русская Венера» штудировал Ницше и «Бхагават-Гиту», и до того-то был сильно притязательным в еде, питье и одеяниях. И без того, отказавшись тратится на дорогостоящую зимнюю обувь, он уже круглогодично ходил в летних туфлях. Дипломированный интеллигент, он пописывал, помещал заметки в местных газетах и мечтал о славе букеровского лауреата. Иногда в голову ему взбредали мысли о создании аппарата, позволяющего путешествовать во времени. Порой ему мерещилась докторская диссертация по санскриту или юкагирскому языку (правда, пока он не имел даже кандидатской). Находясь под обаянием галлюциноидных идей и фантазий, он и без того был на грани вегетарианства и трезвенничества. Кристалл как-никак влиял. И любое его состояние теперь было либо острием, либо гранью, либо обособленной плоскостью если не параллельного, то под каким-то острым углом сопряженного с другими мирами измерения. К тому предрасполагала Иосифа и его комплекция. Был он по-йоговски щупл, худощав, угловат кадыком и выпукл круглыми очками микрорайонного мыслителя. Он мыслил образами и звуками. Кроме санскрита, он имел представления о латыни, древнерусском, церковнославянском и юкагирском. В вычитанном им у Тацита имени Туллий Макробий ему слышалось словосочетание «улей микробов». В самом деле, когда серьезно приболел корью их с Марией первенец, Иосиф представлял болезнетворных микробов в виде ищущих младенцев римских легионеров. Центурия за центурией легионеры ломились в их квартиру на четвертом этаже через двери, балкон, лоджию – и надо было либо отбиваться, либо бежать. Так что недаром в коробочках с лекарствами он видел осла, на котором библейский Иосиф сбежал с Марией в Египет. Санскритское Свами, непременно присовокупляемое к именам

смотрящих с обложек кришнаитских книжек гуру, он трактовал как то, что эти самые гуру всегда находятся рядом с вами. И это, кстати, ему не очень-то нравилось. Больно уж донимал своими беседами об Изумрудной Планете прячущийся в камне Тибетский Монах. Что касается спорного древнерусского словосочетания «мысию по древу», то и его он понимал по-своему. При чем тут скачущая по ветвям белка или ветвящаяся мысль, когда речь просто о словосочетании «мы сию». «Мы сию премудрость одолеем», – говаривал Иосиф, словно успокаивая навязчивого обладателя девчоночьей косы, напоминающей Плотникову о том, как, проявляя внимание к сидящей перед ним однокласснице, он ласково дергал Любашу за золотистую, вьющуюся вдоль позвоночника змейку.

Но когда это было! Косы-змейки, тесовые скамейки, губки Любки, плиссированные юбки! Какая круглая луна! Круглей, чем доски танцплощадки. И выше, чем забор дощатый, над соснами вознесена. Она круглее тех рублей, которых нет в моем кармане. Поет оркестр: «Мани! Мани!» Ну, обними меня скорей! Я чувствовал – чего-то будет, когда я здесь с такой луной, и ты откалываешь буги, увы, конечно, не со мной. И я вспотел, как бой с трубой, когда средь тел тебя представил качающихся – ой-ёй-ёй! – под той луной, где я оставил свои надежды навсегда. Да!

Внезапно возникавшие в сознании светозарные рифмо-звуковые волны составляли потаённую, ни для кого не доступную часть внутреннего мира Иосифа Плотникова. «Ах, Мери, Мери, красотка Мери, – ну чем измерить?..» Эти вибрации, каденции, взрывы импровизаций возникали совершенно неожиданно. Иногда в самый неподходящий момент. Он не мог контролировать ни прихода их, ни исчезновения. Стишок о круглой луне явился в тот момент, когда, разодрав о гвоздь штанину, Иосиф перелез через забор и, улизнув от двинувшихся перехватить его бригадмильцев, смешался с танцующими. Свои стихотворения Иосиф считал блюзами. «Блюз – это молитва», – услышал он как-то от звезды танцплощадки трубача Гаврюхи и зарубил эту формулу на носу. Бормоча про себя беспрерывно вращающиеся, как барабаны с мантрами, стихи, он молился…

Ультимативно названная Марией цифра, с которой, по её мнению, начинается кормилец, мачо и отец семейства, равнялась примерно трем-четырём, а то и пяти его окладам лифтёра и представлялась ему в виде индийского слона, на которого его кошелек мог тявкать лишь безрезультатно ярящейся Моськой. Конечно, в связи с реформой ЖКХ была надежда, что деньжат подбросят. Но кому? Начальнику ЖЭУ. Секретарше его длинноногой. Этой офисной девочке с замашками подиумной дивы. Ну, бухгалтерше, выступавшей в козьей шубке. Остальное бросят на замену дымящихся электромоторов, рвущихся тросов, вырванных с мясом кнопок, змеями расползающихся по цветметовским приемным пунктам силовых кабелей. Пребывая в скорби, Иосиф задумался о кайле и пихле… Ну пихло еще куда ни шло! Но, воображая себя с ломиком в руках, при его интеллигентских прострелах в позвоночнике он тут же морщился и хватался за поясницу, вспоминал о том, как за санскрит и кришнаизм его, а вслед за ним и Марию попёрли с кафедры. Как за юкагирский, увлечение язычеством коренных народностей и кармические учения его с репутацией неадекватного выдавили из трех газетных редакций. Мария повсюду следовала за ним в его изгнания. Теперь вот стреляло в позвоночнике – оттанцевался, отполемизировался на собраниях коллег, где упорные неандертальцы загоняли его, как мамонта, в яму и там добивали. С некоторых пор вот даже урожай с огорода, с большим преувеличением называемого дачей, таскал на тележке. А бывало, зная, что этим не повредит карме, наваливал рюкзак и пер, пер, пер… Вот Маша – та в материнском порыве была несгибаема. Зимой – с пихлом и ломиком. Летом – с метлой, граблями и тяпкой. Он и сам набивал на ладонях мозоли, ковыряя лопатою землю на той Изумрудной Планете, где с тех пор, как он стал носить в кармане Кристалл, морковь, укроп, кабачки вымахивали такие, что соседи лопались от зависти, как перезревшие гороховые стручки. Он поражался Марии, когда счастливая она взваливала на плечи рюкзак и улыбаясь волокла огородные дары, чтобы шинковать, варить, парить и закатывать в банки. Ведра, полные малины и смородины, проделывали путь от садово-огороднического кооператива до их квартиры, чтобы по мановению Марии превратиться в повидла и варенья. Случалось, что, нянча в верхонках ломик или черен метлы, Мария воспаряла. Трубач Гаврик, сопровождающий жителей микрорайона в последний путь, помогал. Он давно уже не играл на танцплощадке, нетленные доски которой все чаще слеплялись в гробы, куда укладывались постаревшие, пожелтевшие, облысевшие апостолы буги и твистов. Труба Гаврика и прежде-то могла приподнять над землей и заставить левитировать не только легкотелых танцоров, но и грузную билетёршу тёть Машу, а теперь…

Разглядывая марки в кляссере, Плотников видел и Марию, и себя притиснутыми друг к другу в танцплощадочной толчее, зажатыми в тесном тамбуре электрички,

согбенными в ожесточенном возделывании грядок, сражающимися с сорняками, нагруженными ведрами, рюкзаком, тележкой, выносимыми человеческим потоком из зева метро. Бывало, Тибетский Монах возникал в проходе вагона с пачкою газет в руках, обещающих жизнь вечную.

– Кармические учения. Способы уравновешивания инь, ян и обуздания Кундалини, – лез он, вконец надоевший, уже не в рясе отшельника, а обряженный в шорты, темные очки, майку с Цоем на груди, с четками в виде бус поверх агрессивно выпяченной челюсти рокера. Приходилось покупать. Плотников знал: это испытание.

Да, Планетой, с которой они и прибыли сюда, была круглая Дощатая Танцплощадка в парке КиО среди сосен на берегу претворяющегося морем водохранилища. Разглядывая сквозь лупу марки, Плотников отлично понимал, что и танцплощадка, и луна над ней – это всё то же двояковыпуклое то замутняющееся, то просветляющееся стекло. Но вырваться из круга завораживающего разглядывания не мог.

Зажатый телами тамбурных обитателей, из-за плеча монументального огородника Плотников мог видеть уставшее, но счастливое лицо Марии. Он изумлялся её долготерпению так же, как когда-то удивлялся её завораживающей красоте. Он закрывал глаза, и Тибетский Монах нашептывал, наборматывал ему молитвенно выходящим из кристалла голосом. И тогда под стук колес и покачивание вагона Плотников переносился на их первую Планету. Какая круглая луна! Пока я ждал тебя, как олух, она – коварна и бледна – мерцала блестками на волнах. И навевая сладкий сон, неоном по песку плескала, сверкала, словно саксофон, и слух плесканьем волн ласкала. Её такой жемчужный блеск, такой зеленовато-синий, струился, плавился, как воск, и цвел бутонами глициний, напоминая о тебе, о блеске глаз твоих и губок, о негре и его трубе и о шуршанье пенных юбок.

Порой обряженную в нетанцевальные одежды Марию вплотную прижимали к Плотникову. Но он не имел сил унести ее на Планету Дощатой Танцплощадки. И тем казнился. Объявляли «Речной вокзал», они выгружались, в её руке до слёз трогательно подрагивал букетик нарциссов и тюльпанов. Но в этих букетиках был уже совсем не тот смысл (казалось, они и пахли по-другому!), какой он вкладывал, когда приносил на свидания цветы, чтобы вручить их Марии – королеве танцплощадки, императрице темпераментных буги, царице жестоких танго. «Какая все же была круглая луна!» – не мог оторваться Плотников от мерцающего, окаймленного пластмассой увеличительного стекла. Такая же круглая, как золотые колечки в коробочках. Круглей, быть может, идиота и не бывало никогда. Ты опоздала – и всего-то, а я подумал – навсегда. Нет, ты ни с кем не танцевала, не прижималась ни к кому, ты просто кудри завивала у зеркала – ну что к чему! Ты просто красила ресницы, ты просто штопала чулки. А я летел быстрее птицы, чтоб ждать тебя здесь, у реки. Ты просто на луну глядела, с волос снимала бигуди. И песенку тихонько пела: «Па-да–да–да-да–ди-ди-ди!» Какая круглая луна! Как зеркало, как амальгама, как клавишей потёртых гамма на ф-но у твоего окна. Как на стене портрет Бриджит. Как лунный свет на занавеске фатой лучистой той невесты, что по лучу ко мне бежит…

Он как заводной сочинял стихи. Вернее, они сами сочинялись, втекая в него блюзовым расплавом лунного света. Словно совершая путешествия на обратную сторону луны, он исписывал стихами изнанку своих лекционных тетрадей, а потом выпрашивал у неё лекции, чтобы сдавать зачёты и экзамены. Потом он завёл отдельную тетрадь, а исписав первую, – вторую, третью. Он осознавал, что превращается в патологического графомана, но ничего не мог с собой поделать – кто-то диктовал и диктовал ему. Плотников никогда не читал своих стихов Марии, признававшей из поэтов только переделкинского отшельника, переводчика «Фауста», «Гамлета», нобелевского великомученика. На планете Переделкино было так много великих, что попавшему в житейскую переделку Плотникову было до них не досягнуть. И всё же, когда Иосиф брал в руки зачитанный женою томик, раскрывал его на том месте, где была вклеена фотография – Борис Леонидович с лопатой – ему казалось, что это он, Иосиф Плотников, на своём огороде. Этой иллюзии не мешало даже то, что обшитая им самим вагонкой тёплая, как хлев, мини-банька, где они прижимались друг к другу ночами в своём огородническом бегстве, была по сравнению с дачей переделкинского полубога несоразмерно меньшим строением. Странно. Неадекватно. Но так казалось – и Плотников ничего не мог с собой поделать.

Мало-помалу все явившиеся из увеличительного стекла небесные тела в каком-то выморочном параде планет слились в одну – Планету Кухонной Сковородки. Сквозь эту чугунную линзу всё выглядело совсем иным, неожиданным, столь же захватывающим и непостижимым, как неизученные новые формы жизни на других планетах, куда попадали обряженные в неудобные скафандры тиражируемые фантастами персонажи. В улавливателе флюидов, сигналов, отражателе сковороды – среди котлеток, блинчиков и яишен – Плотников и увидел впервые бесконечно множащиеся неожиданные лики Марии.

Поставленная на ночь квашня набухала. Тесто, дрожжи, соль и яичная жижа, смешиваясь, создавали новые и новые формы. Временами жена напоминала ему ожившую, сошедшую с пьедестала скульптуру в том же парке КиО, где они бродили в обнимку, хрустя гравием дорожек. Он помнил себя мальчонкой в тюбетейке, майке и шароварах, заворожено взирающим на бетонную женщину, бросающую копье в сизо-дымчатую даль между ветками сосен парка КиО. Нащупав в кармане кругляшки монеток с изображением проглядывающей сквозь увитые лентами колоски пятиконечной звездочки, можно было есть и есть сладкое мороженое, пить и пить липкий лимонад. И это чудо охраняла монументально-недвижная женщина с копьем. Только Машенька, Мария, иконописная богиня его, чей лик он поместил в левом верхнем углу на первой странице своего кляссера, одним лишь мистической силы взглядом непорочно зачатых глаз могла перенаправить бросок и полет того копья. Только её воплощённой в румянец, раскрасневшийся нос, телогрейку, шубинки и валенки сущности по силам было сжать в руках этот дротик – и с энтузиазмом первых пятилеток крушить надолбы околоподъездных льдов. Воистину. Она обладала множеством воплощений. И это воплощение было одно из самых пугающих и непостижимых не само по себе, а тем, что оно предшествовало последнему – самому ужасному. Это последнее прорывалось через все обольщавшие, манившие, морочившие его другие оболочки. Он ещё грезил ей – танцплощадочной королевой, библиотечной книгочейкой, общаговской ведьмочкой, смиренной женой, но ночами, во сне, этот ужас уже выскакивал, разрывая предыдущие оболочки и, набрасываясь на Плотникова увенчанной шипами хвостатороготой ящерицей из семейства гекконов, терзал его, как тряпичную куклу. Разорвав всё, что осталось от него, ящерица долго копалась в нестыкуемых клочках, желая найти что-то или кого-то, и, разочарованно отбросив за ненадобностью, скачкообразно приседая, удалялась. Зато как бывал он счастлив, когда его Мэри-Мария воплощалась в материализовавшуюся тоску пилота Кельвина из «Соляриса»! С тех пор как один из прохожих купил Лема, а торгующий цветным металлом тесть подарил молодым видик, тоскуя по любимой книге, Иосиф втихую потратился на кассету с любимым фильмом студенческой юности и беспрерывно смотрел шедевр Тарковского. «На станции космической вся сплошь из звездной плазмы ты с силою сейсмической будешь любить меня. Пусть доктор Снаут говорит, что я лишился разума. Противный доктор Снаут! Ведь ты моя жена!» – бормотал Иосиф пока даже не для Букеровской премии, а просто так, по вдохновению. Он всерьез представлял себя пилотом Кельвином, а хлопочущую с младенцем жену да и самого младенца – порождениями непостижимо-таинственного Океана. Но даже на этой космической станции, в полуснах-полугрезах, застигавших его возле Пульта, Мария могла совершенно неожиданно обратиться в ящерицу. «Много есть на свете такого, что даже не подумано», – возникала в голове Иосифа фраза из Ницше, и он понимал, что им подумано что-то недозволенное. Потому что ведь балерина Дега, ренуаровская ню или кустодиевская Венера никак не могут обратиться в ящериц. И все-таки такой шанс оставался. А Иосифу не хотелось бы даже, чтобы превращение Марии в ящерицу было вероятным. Ведь не было ничего невыносимее, чем представить собственное чадо в виде яйца, выходящего на свет из рептилии.

Опасаясь этого воплощения Марии, и торопился Иосиф принять хоть какие-то меры. В раздумьях о том, на чём же ещё сэкономить, Иосиф порешил также отречься и от мытья в ванной, потому как шампунь и мыло составляли изрядную статью расходов в семейном бюджете. Дальше Иосифу пришла мысль о том, что и летом, и зимой можно ходить по улице босиком даже без демисезонных туфель, а следуя примеру Порфирия Иванова, и в одних трусах… Раз уж он продал кляссер, тем самым пожертвовав чем-то неимоверно дорогим, – ходить босым и голым ему ничего не стоит. Очень живо представил он себя и в гробу на манер императора Александра I. Ну не совсем себя – бомжей, окочурившихся по подвалам, сколько хочешь. И через одного – вылитые Иосифы. Сталины. Бродские… Двойники. Каста йогов. Раса ушедших в себя мыслителей, диктаторов в драных шинельках, обильной перхотью сыплющаяся на воротник бессмертия из слипшихся волос вечности поэтов в мешковатых пиджаках. Цивилизация усохших от бескормицы отшельников. Так что подложить в лифтовую или для вящей достоверности подвесить на шнуре от чайника такого переодетого в собственные драненькие джинсики и хэмингуэевский свитерок бомжика – дело плёвое. Пусть оплачет Мария, родное ЖЭУ похоронит с оркестром, пусть трубач Гаврюха посвингует при опускании тела в яму, а уж он, Плотников, потом объявится благообразным старцем где-нибудь в скиту под Томском с огромным туесом рукописей. Против такого оборота дела не возражал то и дело выходящий поразмяться из Кристалла Тибетский Монах. «Мне только бы хватило бы соляры, чтоб дотянуть до станции Солярис, мне только бы не кончить так же странно, как вышло

дело здесь же с Гибаряном», – на всякий случай записывал Иосиф на подвернувшемся куске ослиной кожи, в который легко воплощались тетради его стихотворений.

– Не Солярис, а Изумрудная Планета – вот куда мы полетим. Солярис – это выдумка, химера подсознания! – поправлял Тибетский Монах, перебирая четки.

– Ну, вы ж понимаете, Учитель, что это поэтический образ! – возражал Иосиф.

– На первом уровне посвящения это вполне приемлемо, – скалился Монах, растягивая губы, за которыми обнаруживался один-разъединственный чёрный зуб.

Они отлетали. Они медитировали. Вдвоем. Монах ловко подхватывал Иосифа за шкирку и вытаскивал его астральное тело из третьего глаза. Выползшая из крестца, проделавшая нору в позвоночнике, мозжечке и верхних долях полушарий Кундалини, шипя, хватала Иосифа за край одежды, но Монах с такой силой дергал, что кусок отрывался, оставаясь в змеиной пасти. Несмотря на эти поползновения, они воспаряли. Этим медитациям не мешали даже ставшие столь частыми застревания пассажиров в лифтах. Даже наоборот – помогали. Наркоманы ломали лифты с ожесточенностью взбесившихся боевых слонов. Нужно было вызвать аварийную бригаду. Вот в моменты этих вызовов все чаще и начиналось… Аварийщики ещё водились здесь, в этом пространстве и времени, где все бригады ремонтников-лифтовиков давно перевоплотились в стаи рогато-хвостатых ящероподобных монстров. Главное было не ошибиться. Почему-то временами случалось – Иосиф звонил в аварийку, на другом конце провода шипело, рыкало и булькало, а затем из застрявшего лифта вываливался посиневший труп. Лучше всего, пока не подъехали аварийщики, было слетать на место аварии самому и попробовать вызволить пленников. Что он и делал, нахлобучив шапку, запахнув пальто и мигом переносясь на другой конец микрорайона на длиннополых крыльях, подхватываемый метельными воронками. Выпав из вихря и отряхнувшись, Плотников топал по лестницам и, как заправский домушник, орудуя прихваченной с собою фомкой, отжимал двери лифта, чтобы освободить узников. В такие моменты вполне уместно было вообразить себя героем какого-нибудь боевика: там очень часто случаются перестрелки и захват заложников именно с применением трюков в лифтовых кабинах. Но причитающие пенсионерки, домохозяйки с авоськами, детки, вздумавшие покататься, так не походили на голливудских звезд, что эта иллюзия тут же истаивала, стоило лишь отворить неподатливый Сезамм. Одна из иллюзий, явившись ему, круто изменила последующий ход событий.

– Я тебя отблагодарю, – блеснула зубами цыганка, словно у неё во рту пряталась золотая рыбка. Её Иосифу пришлось вытаскивать из «ямы», образовавшейся от того, что лифт застрял, не доехав до этажа.

– Вот тебе! Даром отдаю! – протянула карменистая брюнетка спасителю пакетики с белым порошком. – Продашь – деньги себе заберёшь… Мне ничего не надо...

И сразу же откуда ни возьмись из коридорной темноты к нему потянулись руки с пачками купюр. Монах отвернулся, молясь. Плотников видел только луну в окне и спину монаха со змеёй косы меж лопаток. Деньги сами лезли в руки, в карманы пальто, выпадали из них – и, даже не удосужившись поднять выпавшие бумажки, Плотников нёсся внутри снежного вихря в сторону гастронома. Уши шапки шевелили завязками, полы пальто, как и подобает крыльям, хлопали и били его по ляжкам, а когда снижаясь он шёл на посадку около какого-нибудь крыльца или «комка», из-под подошв ботинок вырывались снопы искр.

– Ну вот – ты уже научился левитировать самостоятельно! – возникая, скалился Монах единственным зубом. И тут же истаивал.

Смена Иосифа кончалась в полночь – за полночь, поэтому возвращался он домой, когда жена уже выключала цветной телевизор в спальне и, почмокивая соской, засыпал в кроватке младенец. Открывая двери, Иосиф старался не шуметь. Прикрыв за собой моллюсковую створку дверки, он не перетёк всем своим интеллигентски-слизняковым существом ни на кухню, ни в ванную. Даже свет не стал включать – намотает ведь, потом не рассчитаешься! Слущив с себя одеяние застарелого хиппи, он нырнул под одеяло – в уют и тепло, созданные телом жены. Коснувшись подушки, Иосиф не то что уснул – он отрубился, будто в затылке у него была вмонтирована лифтовая кнопка: надави на пластмассовую штучку – и разом выключается скорбная реальность, и рывком ввысь включается сновиденческий Рай. Ему сразу же начала сниться Индия. Прожаренные на солнце, они с Машей бродили в тени баньяна, мочили ноги в Ганге и предавались утехам Кама-Сутры. В снах Плотников всегда был склонен к тантризму.

Той ночью или какой другой, но ближе под утро его разбудили включившийся на кухне холодильник, зоологическое чувство голода, горечь во рту. Организм властно требовал еды, курева, выпивки. Попробовал занять йогические позы змеи и лягушки – не помогло. Тогда, крадучись, и оглядываясь, как бы его не застукал Тибетский Монах, Иосиф пробрался на кухню

и, приоткрыв озарившее его молитвенное лицо светом внутрикамерной лампочки вместилище масла, сосисок и соленых грибочков, стал уподобляться императору Александру на званом обеде. Намазанное на засохший кусочек хлебца масло показалось столь ароматным, будто бы его могли изготовить только из млека священной коровы. Сосиски вились кобрами, и он на манер заклинателя с флейтой загонял их в мешок своего желудка. Изнасиловавшие плоть добровольные посты побудили Иосифа заглотить сразу целую вязанку. В ход пошли и грибочки, которые он покупал у старухи-книгочейки возле Дома книги, где они выстаивали по переменке. С небывалым наслаждением, накатив из заначки ополовиненной бутылки водки, он закусил выпитое хрусткими груздочками. Нашарив в шкафчике непочатую пачку «Космоса» с фильтром и зажигалку, он разорвал первобытно-неадертальским кресалом пещерную темень и, жадно затянувшись, полностью отлетел в астрал. Без посредничества Монаха. Один. Причем совершенно неожиданно вход туда открылся через подсвеченное нутро бытового прибора. На одной из полок рядом с куском колбасы Иосиф увидел Гибаряна. «Он там лежит в огромном, словно космос, холодильнике. Лежит, молчит, давно уже не дышит. И губы у него – шершавые напильники. Глаза его – холодные ледышки. И ничего не помнят остывшие конечности. Конечно, где упомнишь, коль весь заиндевел. А что-то ведь хотел нам передать для вечности. Но почему-то всё же не успел».

Иосиф не желал возвращаться из астрала, даже призываемый назад донёсшимся из-за стены детским плачем.

Вспыхнувшая над головою лампочка вывела поэта из сытой медитации.

В дверях кухни стояла Мария. Вылитая кустодиевская Венера… Волосы струились. Тело бугрилось под ночнушкой. Заспанная Венера улыбнулась…

У ног тёрлась пробуждённая запахом колбасных изделий кошка…

– Ты чо это, Ось? Мандельштамишь тут потихоньку? А? Хватилась – тебя нет… Потом малой заплакал. Дала титьку – успокоился. Уложила его, а тебя и след простыл… И так мне стало тоскливо. Так тошнёхонько. Померещилось, будто тебя какие-то рогатые ящерицы утащили. Айда в постельку…

Делая шаг в сторону спальни, Иосиф увидел весело подмигивающего ему, утекающего дымком под двери ванной Монаха. Было это то самое утро или какое-то другое? Причудливым Океаном грез они наплывали на него рассветными сумерками с тех пор, как он стал путешествовать во времени. Прикончив ополовиненную беленькую, Иосиф заперся в ванной. Там, насвистывая, он вылил на себя целый флакон «Хэд энд шолдера». «Ну что ж, что ты проекция безвыходной тоски моей! Ну что ж с того, что ты лишь копия её! У Снаута в отсеке – их целая коллекция. А кто такие – глянуть не дает. Мы что-то вроде рыбок-скалярий на этой самой станции «Солярис». Насквозь нас видит мудрый Океан. Вот только бы не кончить, как кончил Гибарян!» – слагались сами собою слова неизвестно для кого сочиняемой песенки. Марии-то ведь он их никогда не пел. Стеснялся. Но с каждой строчкой в нём крепла уверенность, что эти стихи – что-то вроде санскритских мантр, влияющих на выползание Кундалини из хребетных нор, нормализующих циркуляцию кармического закона.

Иосиф размышлял над странным феноменом. Получилось так, что вроде как, хватив ночью беленькой из холодильничка, он вначале перенесся на Солярис, а оттуда с помощью воплощающего навязчивые мысли Океана – в прошлое. А там он побывал на всех Планетах. И всё без помощи Монаха. Своими силами. Побывал Иосиф и в тех временах, когда сынишка был совсем маленький, а дочурка ещё и не народилась. Когда это было! А вот будто провалился туда. В ту пору Машенька ещё уезжала с утра на кафедру, а вечерами, уложив в кроватку малыша, включала настольную лампу и писала диссертацию. Тогда вот, когда они въехали в ведомственное жильё, и появилось ощущение, что микрорайон – не что иное, как космическая станция с творящимися на ней жуткими странностями. А окружающий их мир – посылающий нестабильных фантомов Океан Соляриса. Это чувство особенно усиливалось, когда мело, свистело меж кругообразно поставленных домов и светляки окон едва проглядывались сквозь мутную пелену. Снаутом Плотников вначале прозвал начальника ЖЭУ, который постоянно держал его в страхе выселения с ведомственных квадратных метров, потом этот неприятный лемовский персонаж воплотился в участкового врача-гинеколога, посоветовавшего Марии сделать аборт: куда, мол, плодить нищету! Если бы даже внутри его жены зрел кокон с маленькой рептилией, и то такой совет мог бы вызвать возражение у какого-нибудь общества любителей животных. А тут… И тогда Иосиф решился продать редкую, доставшуюся ещё от отца марку. Когда букинистические крысы заглянули в каталог, случился переполох. Марка стоила такой суммы, которой у них не было в наличии… Пришлось для обналички подключать банк. Так объяснял Иосиф Марии появление денег, на самом

деле всё обстояло совсем иначе. Никто не купил у Иосифа никакой редкой марки. Просто Плотников стал наркодилером. Как раз в тот вечер, когда Мария объявила о том, что намеревается сделать аборт, бредя в лифтовую и уже видя на белом снегу большеголовый кровавый сгусток с поджатыми крошечными ручками и ножками и стебельком пуповинки, он молил, чтобы хоть кто-нибудь помог – на его зов явилась застрявшая в лифте цыганка.

Монах на время оставил Иосифа в покое. Теперь Плотников мог себе позволить многое. Как шелковичный червь в кокон, замотанный в снежный вихрь, отягощенный съестным и моющими средствами, он едва успевал подставить шасси своих туфель, чтобы спикировать к подъезду. Таскать продукты и упихивать их в холодильник было куда легче, чем заволакивать на седьмой этаж пианино или выбирать в магазине музыкальных инструментов скрипку, которая пришлась бы впору маленькой ручке дочурки. Подаренный ему цыганкой белый, внешне очень похожий на стиральный порошок «Ариэль», этот порошочек с такой легкостью перевоплощался в колбасы, сыры и коробки с соком, что не прошло и полгода, как на остающиеся от покупок деньги Иосиф сторговал на автобарахолке «Ауди» – грезу. И, сдав на права, Мария уже рулила на шикарной иномарке по микрорайону, удивляя бабок и соседей. А деньги всё продолжали притекать к Плотникову по той простой причине, что всунутые ему цыганкой в руки пакетики не кончались. Сколько бы он их не продавал, пошарив в карманах своего пальто, он снова их там обнаруживал. Что касается покупателей, то они находили его сами… Иосиф хотел отблагодарить цыганку, нашел тот подъезд, где вытаскивал её из лифта, но удивительно: на том этаже, где она вручила ему пакетики, не оказалось дверей. Он точно помнил, как, пританцовывая на манер киношной индианки, цыганка скрылась за дверями, но… Спустившись по лестнице, он обнаружил большее – в этом подъезде вообще не было дверей. Правда, на третьем этаже, продавившись сквозь стену, в полумраке образовались двое серолицых в штатском из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, но, хрустя башмаками по одноразовым шприцам, они прошли сквозь Иосифа, даже не заметив здесь его присутствия… А может, и он прошел сквозь них, ведь с тех пор, как начали твориться все эти чудеса, он опять стал носить в кармане пальто граненый камень-кристалл, который всё чаще обретал форму ребристого, требующего наполнения стакана. Как-то ради любопытства Иосиф разорвал пакетик и попробовал содержимое на вкус. Тут же словно из-под земли вырос индиец в чалме и сказал по-санскритски:

– Добро пожаловать в страну перевоплощений! Знай! Этот белый порошок через Тибетского Монаха ты получил из рук самой богини Кали… Ты ещё встретишься с ней. А пока – пользуйся её щедростью… И запомни – ты великий Гуру, управляющий Карматроном. Знай – найденный тобою кристалл – оракул из храма богини Кали. Он принадлежал когда-то великому Тибетскому Монаху, похороненному в устье Бии и Катуни у подножия Золотой Бабы. Теперь мы удалили Монаха. Ты прошёл посвящение и дальше справишься сам. Помни: твоё число – три. Пять – число охотящегося за младенцем…

Из разорванного пакетика в ладонь Иосифа, лучась и сверкая, посыпались бриллианты. Один крупнее другого… Заискрились игрушки на ветвях ёлки. С удивлением Иосиф обнаружил среди них и Октаэдр, и Тибетского Монаха, и игрушечную «Ауди» на ниточке, и стеклянную Золотую Рыбку, и Индийскую Танцовщицу с лицом цыганки.

В перламутровое нутро банкетного зала ворвалась музыка. Во главе стола стоял он, Иосиф.

– Поздравим же нашего букеровского, да что там, нобелевского лауреата, изобретшего Карматрон!

К нему снова и снова протягивались руки. В них были зажаты книги. В каждой руке – по увесистому томику. Страницы жаждали автографов. Картонные корочки с надписью «Мантры для полетов в астрал», экстатируя, хлопали крыльями, словно собираясь взлететь.

– Поздравим нашего счастливца! – снова гремело совсем рядом. – Сохраненная им марка оказалась филателистическим шедевром. Почтовым реликтом времен евангелиста Марка! Она оценена в пять миллионов долларов и куплена Международным банком развития!

Мэри сияла. Облаченный в строгий смокинг сын ждал, когда объявят его номер и он извлечёт из однокрылого рояля двукрылую хрустально-текучую птицу. Задрапированная в серебристо-чешуистое платье дочь (в ней Плотников узнал выползшую из его крестца Кундалини) в одной руке держала скрипку, в другой – смычок. Жемчуг и янтарь. Сочетание, гармонирующее с перламутром зала и бесконечным колье украсивших стол гастрономических драгоценностей…

Сквозь надёжную твердость пиджака Иосиф, правда, всё ещё ощущал, как его пронизывает ветер на перекрестке возле бывшего Дома книги. Он всё ещё видел, как подковылявшая, закутанная в проеденную молью шаль старуха жадно вчитывается в

вырываемые из её рук метелью страницы Голсуорси, ему казалось, что на нём никакой не пиджак из Макс-Мары, а всё то же демисезонное пальтишко, но, любуясь Марией, он старался не обращать на это внимания… Чтоб было легче переносить холод и сосущее чувство тоски, он вызывал в памяти запах кедровых стружек, звуки вжикающего по доске рубанка, вспоминая те времена, когда он был плотником, мастерил столы, табуретки и ясли для хлевов…

В том времени, куда Иосиф уже не хотел возвращаться, отведя сынишку и доченьку в садик, Маня, счастливо улыбаясь, уже не тантрила кайлом лед на отмостке. Укутав малышку в голубенькое одеяльце и перевязав её небесного цвета лентой, она выходила на улицу, на свежий воздух, и стояла у подъезда, пока какая-то обряженная в тулуп тётка скребла пихлом снег. Намело этой ночью! По всей земле понамело, во все пределы. То и дело свеча горела на столе… Огарочек той свечки теплился и трепыхался ярким тропическим мотыльком с марки республики Бурунди в кляссере, шевелил ножками, мигал крылышками, жил, переселившись в горячее, пульсирующее, дышащее детородное нутро Марии. Смахнув радостную слезу, Мария покаянно подумала, что зря наорала все-таки давеча на мужа, вот ведь как оно дело-то обернулось – разбогатели. И, вспомнив о недописанной кандидатской диссертации на тему «Рождественские мотивы в поэзии Б. Пастернака», как ей казалось, под приглядом изучающе осматривающего ее гинеколога Снаута почувствовала приток горячего и пульсирующего к соскам под бюстгальтером. Она стояла у подъезда, нянча на руках укутанную в одеяльце малышку. Они назвали девочку Машенькой. В убелённых снегопадом обрубках обрезанных по осени клёнов Марии всё ещё мерещились костыли-подпоры гинекологического кресла. Ягодицы, холодея, всё ещё ощущали металл, с которого съехала простынка, ей всё ещё виделся ухмыляющийся, чего-то там прикидывающий про себя Снаут, она всё ещё ощущала внутренними сторонами бёдер гнилостное дыхание ученого-экспериментатора. С помощью твердой штуковины гинеколог расширял проход туда, где от него прятался беззащитный, всё чувствующий и понимающий комочек, разглядывал – что там и как – через линзы круглых очков. В какой-то момент Марии даже показалось, что это её муж Иосиф, чьей страстью было рассматривание филателистических рыбок, птичек, насекомых через увеличительное стекло, что-то там высматривает. Но вот он принес домой много продуктов, денег и весть о том, что они разбогатели. На следующий же день Мария уволилась из ЖЭУ, где снаутоподобный начальник намекал ей о невозможности ухода в декрет, и всё разрешилось как нельзя лучше…

К ночи вызвездило. Сверкающие серебристые колосья Млечного Пути наподобие выпроставшихся из вьющихся лентами одежд волхва бережными ладонями баюкали над округлым, как монетка, миром Звезду Рождества. Умещаясь в дышащей ноздре вола, город мерцал окнами с разноцветными светляками ёлочных гирлянд. Сгорая, как свечка, в кристаллической глубине одного из таких окон плакала над залистанным томиком стихов Мария. Сколько ни носил его Иосиф на перекресток возле бывшего Дома книги – никто не покупал. Поначалу ещё, бывало, откроет кто-нибудь, увидит вдохновенного Поэта с лопатой на даче в Переделкине и кладет на прежнее место на обветшавшей замызганной клеёночке. А потом даже прикасаться к драгоценному томику перестали. Его не брала в руки даже трясущаяся старуха в драном полушалке, приходившая листать Голсуорси. Путешествуя во времени, задрёмывал на диване под лопотание топающего по коврику старшенького и агуканье в кроватке младшенькой Иосиф, ощущал упавшей на недавно купленный палас тыльной стороной ладони ворсистую шкуру осла. Обоняние мыслителя-отшельника улавливало запахи хлева, шорохи, дыхание, таинственное шевеление жизни. Мерцал экран телевизора. В сменявшихся картинках появлялись британский ученый, мусульманский священник и фотографии эмбриона. Речь шла о том, что эмбрион похож на жеваный кусочек хлеба с отпечатками зубов.

Истек сочельник. Какими-то неведомыми дотоле запахами сочилось из-под двери лифтовой. Мигали лампочки на Пульте, метались под потолком голоса жильцов, застрявших в темных бесконечных шахтах. Их жизни теперь были подвешены на тонких, ненадежных тросах, как не успевшие доткать своих коконов червячки на паутинках, и некому было прийти на помощь. В пультовой на вколоченном в стену гвозде висело до невозможности заношенное демисезонное пальто с торчащим из кармана целлофановым пакетиком. Сверху была нахлобучена облезлая шапка-ушанка с безжизненно обвисшими завязками. На полу стояли стоптанные осенние ботинки без шнурков, минуту назад уползших в щель за столом. Когда сквозь озонирующие потрескивания Пульта прорвались голоса сотрудников отдела по борьбе с Незаконным Оборотом Кармы (отдел конспирировался под похожим названием), и сами они, наконец материализовавшись, оказались в этом пространстве и этом времени, Иосифа уже не было…

Окончательно уплотнившись и окуклившись, тело Плотникова покоилось нетленным в раке, в могиле рядом с поглощаемым тайгой раскольничьим скитом за кержацкой деревней. Оно гнило под землей возле кремлевской стены, ощущая на лице жесткую, подаренную вечностью на счастье подкову усов. Оно истекало гнилью во всё ещё сотрясаемой плясками ирокезов чуждой почве с овидиевой улыбкою изгнанника на черепе, с которого уже стекал растопляемый временем пластилин человеческой плоти. Остатки всего, что было в Иосифе человеческого, вставший на табурет милиционер обрушил на пол одним прикосновением перочинника к натянутому, как скрипичная струна, шнуру от электрочайника. Сотрудник отдела, конечно же, не видел, что это был не перочинник, а жертвенный нож в когтистой лапе самой богини Кали…

Толпившимся в лифтовой понятым было не понять… Да и как постичь, что и вот этот удавленник, и резанувший себя по венам безработный инженер с пятого этажа, и найденный рядом с опустошенной склянкой уксуса почерневший, как головешка, чего-то там паявший неприкаянный кандидат наук с девятого, до последнего деливший объедки с соседней помойки со старухой с седьмого, были тем же самым Иосифом… Никто не заметил и того, как от подъезда, куда подвалил милицейский «бобик», только что отъехала жемчужная «Ауди». Собственно, они проскочили друг сквозь друга и, слившись, снова разделились надвое. Втискивающийся в иномарку вслед за Скрипкой и Смычком чернопальтовый Рояль, скаля клавиши зубов, брякнул в рифму: «Целую партию товара загубил, тварь!»

– Вот это обязательно приобщи к делу: «Послушай, Доктор Снаут, кончай эксперименты! Она хоть и из плазмы, а все-таки жена! Неужто вновь тоску мою запишешь на рентген ты и в океан пульнешь лучом – Какого же рожна!» – прочел сотрудник и, сплюнув, рявкнул: – Опять какие-то записки сумасшедшего! И всё в одном подъезде. Книжник, торчавший на углу, сколько его ни гоняли, ДТП спровоцировал. Ученый-изобретатель какого-то чудо-аппарата уксуса хватанул. И вот этот. Хорошо – Гаврюха держал и его, и бабу его на примете. Ещё с тех пор, как они на танцплощадке снюхались. Верная информация оказалась. И насчет Плотникова, и насчет его жены. Это она недоношенные эмбрионы по помойкам разбрасывала, а собаки потом их по всему микрорайону таскали. А ведь вроде образованные люди. Вузы кончали, начитанные… Ну, да мы во всём разобрались. Как-никак Гаврюха – стукач со стажем. Ещё с тех времен, как стиляг ловили, завербован. Дует себе в дудку на похоронах да на свадебках и поглядывает – кто чем дышит. Когда ещё генерал Макробов инструктировал Гаврюху! И ведь до сих пор нигде не засветился! Мы с ним тогда бригадмильцами были, я лично этому Плотникову штанины распарывал, а генерал кок Элвиса стриг. Да видно, плохо стриг… Впрочем, может быть, это и младший брат или сын Плотникова, как-никак стиляги-то вон когда были, а этот вроде больше на хиппака похож. Да и сами-то мы… Во, блин, время летит! Такое ощущение, что всё это было пять минут назад! Чертовщина какая-то… Лейтенант Гибарян, тут в записках, кстати, фигурирует твоя фамилия. Пробей-ка по компьютеру через Интерпол – кто такие доктор Снаут и пилот Кельвин. Не числятся ли в розыске? И вот с этой хреновиной разобраться надо! Поди, какой-нибудь самопальный синтезатор наркоты! Алхимики, мать их! – отодрал сотрудник от проводков ещё тёпленький, тускло мерцающий октаэдр.

Двое серолицых крутились возле пальто, напихивая в карманы побольше пакетиков. Третий, отпочковавшись от второго под воздействием гудящего Пульта-Кармартрона, весь исполосованный бичами синих молний, держал в руках фомку:

– Так это он курочил лифты, сволочуга, чтоб наркоту в лифтовых шахтах прятать! Он кабели выдирал, кобель! Тесть-то его цветным металлом торгует!

Серолицые прибыли сюда с Изумрудной Планеты и очень хорошо канали под ментов-лохов. В подтверждение вышесказанного четвертый серолицый волок из подвала охапку дюралевых уголков, из которых Плотников мыслил соорудить хронолёт побольше и повместительней. Чтоб улететь и самому, и пацанам, приходившим к нему за дозой и приносившим шприцы из соседней аптеки… Пятый серолицый… Он вытаскивал из кладовки кучу запекшегося кровью, облепленного древесными стружками и опилками тряпья. Развернув его, он увидел младенца мужского пола, всего в «перевязочках», розовенького, ищущего беззубым ртом – к чему бы присосаться. Серолицый достал из-под плаща короткий меч. На голове его сверкнул шлем римского легионера. Убедившись, что его никто не видит, Туллий Макробий проткнул мечом пискнувшего младенца и вместе с ним истаял, вытекая на две тысячи лет в прошлое. Только стружки осыпались, витая…

Баб-Маше, что по старой домкниговской привычке ходила на перекресток читать Голсуорси, было не разглядеть. Где ж ей, близоруко склонившейся над отброшенным ударом бампера к поручням огражде-

ния нескладному мужчине, с лысеющей головы которого сорвало ударом жмущуюся серењким кроликом к обочине шапку, было углядеть, что это он – её суженый Иосиф. Баб-Маша даже не увидела, как из головы, расколотой от чакры до переносья, вслед за червячками крови и слизнями мозга выструилась и скользнула к решёткам левнёвки чёрная Кундалини. Где было уразуметь старой, что рогато-хвостатые существа, явившиеся из голубых искр на контактах Пульта, переставили все времена, и теперь из отрочества можно сразу попасть в глубокую старость, из зрелости – в младенчество, а из замужества – во вдовство. Сколько ни вглядывалась она в эти где-то виденные черты, не разглядела, что это некогда прятавший младенца от римских легионеров, бежавший с нею в Египет терпеливый Иосиф. Плотников так и не дожил до тех пор, когда вынесли на помойку пианино, в нутро которого поверх обнаженных струн неумолимое время намело пустых тетрапаков, использованных презервативов, опорожненных консервных банок, испачканной коричневым туалетной бумаги и его так и не читанных никем тетрадей со стихами, перемежаемыми математическими расчётами и нагромождением формул… Грешным делом Мария и выбросила всё это. Она сделала это сразу, как только, никогда не бывавшая замужем, старая и бесплодная, обнаружила испещренные непонятными ей латынью, древнерусскими, церковнославянскими и санскритскими письменами свитки в углу рядом с письменным столом в лифтовой каптёрке. С некоторых пор она не могла читать ничего, кроме Голсуорси. Это и была та самая Книга, которую она всю жизнь искала и не могла найти ни в студенчестве, ни в пору бдений на кафедре, ни позже – в Доме книги. И вот почему. Собирая для пропитания грибочки в рощице за забором брошенного завода, она увидела на полянке жемчужную «Ауди» и, заглянув внутрь, обнаружила там выглядывающую из-за плеча ерзающего толстяка девическую мордашку… В зубах у девицы были зажаты баксы… Вначале Марии померещилось, что это её дочь. Ох, как звала она в тот миг давно вытекшее из нее, покинувшее её душу когтистое, хвостато-рогатое, усыпанное зубами, шипами и иглами, источающее зловоние существо, которому она, бывало, предоставляла свое тело в качестве прохода из какого-то другого измерения – сюда. Но никто не явился на её зов… В другой раз ей показалось, что в телевизоре, на экране, она увидела своего сына. Кто-то с испещрённой арабскими письменами повязкой на лбу перепиливал ему горло кавказским кинжалом. И опять она звала тех зубатых и хвостатых, желая стать одной из них, но они снова не явились… И тогда, вспомнив, что у неё никогда не было детей и она девственна, Мария, смеясь, отвернулась от телевизора. В голове её непонятно откуда возникло: «Стояла зима, дул ветер из степи и холодно было младенцу в вертепе…» – «Да, да, младенцу, а это уж не младенец!» – напряжённо соображала она. И вдруг, извиваясь в мумийных пеленах смирительной рубашки, откидываясь головой к спинке дурдомовской койки, скалясь, она издала крик геккона. Спрыгнув с нагретого галилейским солнцем камня, она уползала в темную нору бессознательного, туда, где не было ни доброго всепрощающего Иосифа, ни злобных легионеров Туллия Макробия. Доза аминазина – и умиротворенная Мария ковыляла с полянки, чтобы продать подберёзовички возле Дома книги. Купив на вырученные деньги хлебца, она растирала его беззубыми дёснами, пытаясь оставить на жёваных кусочках отпечатки зубов, чтоб было похоже на эмбрион, который она готова была выносить даже за щекой или, заглотив, в желудке, но у неё ничего не получалось. Она водила глазами по буквам засаленного тома. Эту дарующую возможность Путешествий словно с небес упавшую возле светофора Книгу она украдкой подобрала, пока не приехали милиция и труповозка… Буквы и слова не имели значения, тем более, что баб-Маша клала фолиант на свои увядшие бедра вверх тормашками и читала задом наперед. Так ей казалось, потому что сослепу Мария приняла за Голсуорси РУССКО-ЮКАГИРСКИЙ СЛОВАРЬ. Впрочем, что за книга лежала у неё на коленях, для нее уже было не важно – главное, слюня палец, переворачивая страницы и шевеля губами с прилипшими к ним хлебными крошками, она видела…

Плотно замотанный в кокон прядущей свою бесконечную нить метели, Иосиф летел куда-то к астероидному поясу, где среди безжизненных обломков немеркнущим бриллиантом мерцала Изумрудная Планета. В малахитовых травах играл на янтарной скрипке кузнечик, бренчал на крошечном жемчужном пианино мотылек. Иосиф мчался, удаляясь от не принявшей его Земли на Изумрудную Планету, чтобы вернуться вновь огненным болидом. Он уже видел сквозь наставленное на этот голубенький шарик увеличительное стекло, как, возвратившись, вжигается в его прозрачную, слегка холодящую оболочку…

2010, 2016 годы